

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении «новичка», одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы.

Директор подал нам знак сесть; потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже, рекомендую вам нового ученика; он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту.

Стоявший в углу, за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет пятнадцати, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника; лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна, с черными пуговицами, должно быть, резала в проймах; а из обшлагов высывались красные руки, не знавшие, очевидно, перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны.

Обут он был в грубые башмаки, подбитые гвоздями и плохо вычищенные.

Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол, и в два часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды.

У нас был обычай — при входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки; нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно о стену и подняв при этом как можно больше пыли: это считалось у нас «шиком».

Не заметил ли новичок этой проделки или же не посмел принять в ней участие — но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. То был сложный, в смешанном стиле, головной убор, в котором можно было различить составные части и меховой шапки, и кивера, и круглой шляпы, и котикового картуза, и ночного колпака, — словом, один из тех убогих предметов, немое безобразие которых глубоко выразительно, как физиономия дурака. Яйцевидной формы и натянутый на китовый ус, этот головной убор покоился на трех концентрических колбасах; затем, отделенные красной полосой, чередовались ромбы из бархата и кроличьего меха; далее следовал род мешка, кончавшийся многоугольником, подбитым картонкой и покрытым сложною вышивкой из сутажа, а с него на длинном, тонком шнурке свисала маленькая кисточка из позумента в виде желудя. Фуражка была новенькая, козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал, фуражка упала. Весь класс захохотал.

Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб ее у него из рук; он поднял ее снова.

— Да расстаньтесь же с вашей каской, — сказал учитель, большой остряк.

Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой: оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени.

— Встаньте, — сказал учитель, — и скажите мне, как ваша фамилия.

Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя.

— Повторите!

Послышалось то же бормотание слогов, заглушаемое гиканьем всего класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Тогда новичок с последнею решимостью раскрыл непомерно рот и всюю грудью гаркнул, словно кого-то звал: «Шарбовари!»!

Сразу поднялся шум, усилился в оглушительный гам со взрывами пронзительных выкриков (ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя: «Шарбовари! Шарбовари!»); потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо потушенная шутиха, вспыхивал подавляемый хохот.

Однако под градом штрафных задач порядок в классе мало-помалу восстановился; и учитель, наконец усвоив имя Шарля Бовари, — после того как он заставил его себе продиктовать, называя букву за буквой, и произнести вслух, — приказал бедняге пойти и сесть на скамью

лентяев, у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде, чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность.

— Чего вы ищете? — спросил учитель.

— Фураж... — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь.

— Пятьсот стихов всему классу! — Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно «Quos ego», новую бурю. — Сидите же смирно! — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. — Что касается вас, новопоступивший, то вы напишете мне двадцать раз *ridiculus sum*, во всех временах. — Потом прибавил более мягко: — Фуражку свою вы найдете. Никто ее у вас не крад!

Все притихло. Головы склонились над тетрадами, и новичок сидел два часа образцово, несмотря на то что время от времени шарик жеваной бумаги, пущенный с кончика пера, летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза.

Вечером, в классной комнате, он вынул из пюпитра нарукавники, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию он не был переведен в низший класс, чего следовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священник в той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже.

Отец его, Шарль-Дени-Бартоломэ Бовари, отставной военный фельдшер, заподозренный в 1812 году во взяточничестве при рекрутском наборе и принужденный около этого времени покинуть службу, воспользовался своею привлекательною наружностью, чтобы подцепить на пути, при перемене карьеры, шестидесятитысячное приданое, представившееся ему в лице дочери шляпного торговца, которая влюбилась по уши в молодцеватого военного. Видный собою, хвастун и враль, он звонко позвякивал шпорами, носил бакенбарды, сливающиеся с усами, унизывал пальцы перстнями, предпочитал в туалете яркие цвета и соединял осанку храбреца с развязностью коммивояжера. Женившись, он прожил два-три года на средства жены, кушая вкусно, вставая поздно, куря из длинных фарфоровых трубок, проводя вечера в театре, шатаясь по кафе. Тесть умер, оставив после себя весьма немного. Он пришел в негодование, пустился в промышленность, потерял деньги, потом удалился в деревню, где решил сам хозяйничать. Но так как он смыслил в сельском хозяйстве столько же, сколько в ситцах, ездил верхом на лошадях, вместо того чтобы посылать их в работу, выпивал свой сидр бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, съедал лучшую живность с собственного птичьего двора и смазывал охотничьи сапоги салом собственных свиней, то вскоре увидел, что ему лучше бросить всякую надежду на доходы.

За двести франков в год нанял он в одной деревне на границе Пикардии и Ко полуферму-полуусадьбу. Огорченный, тревожимый поздними сожалениями, обвиняя небо и завидуя всем и каждому, в сорок пять лет он замкнулся, набив себе оскомину от людей, как говорил он сам, и решив жить на покое.

Жена его когда-то была от него без ума и доказывала это в тысяче проявлений рабской покорности, которая его еще более от нее отвратила. Некогда веселая, общительная, любящая, она стала под старость (как откупоренное вино, которое превращается в уксус) сварливую, визгливую, раздражительную. Сколько выстрадала она безропотно, когда видела его бегущим за каждую деревенской юбкой или когда его привозили к ней по вечерам из всевозможных притонов, пресыщенного и пьяного!

В ней заговорила гордость. Она замолкла, глотая свою злобу с немым стоицизмом, который сохранила до самой смерти. Она была непрерывно в бегах, в хлопотах. Ходила к адвокатам, к председателю, помнила сроки векселей, вымаливала отсрочки; а дома целые дни гладила, шила, стирала, присматривала за рабочими, платила по счетам, меж тем как барин, ни о чем не хлопоча, погруженный в ворчливую дремоту, от которой пробуждался, только чтобы говорить ей неприятности, курил трубку у камина и плевал в золу.

Когда у нее родился ребенок, пришлось отдать его кормилице. Получив малыша обратно, мать стала баловать его как принца. Она закармливала его сладостями, а отец заставлял бегать босиком и, разыгрывая философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голый, как детеныши зверей. Наперекор стремлениям матери он лелеял в своей голове некий идеал мужественного воспитания, согласно которому и старался возрастить сына, требуя применения спартанской суровости, дающей телу должный закал. Он клал мальчика спать в нетопленной комнате, учил его пить залпом ром и высмеивать крестные ходы. Но, от природы смиренный, тот туго поддавался отцовским усилиям. Мать постоянно таскала его за собой, вырезала ему фигурки из

бумаги, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, полных меланхолической веселости и болтливой ласки. В своем одиночестве она перенесла на ребенка все свое обманутое тщеславие и разбитые надежды. Она мечтала о его будущем высоком положении и видела его уже взрослым, красивым, остроумным, служащим в министерстве путей сообщения или в судебном ведомстве. Выучила его читать, писать и даже — под аккомпанемент старого рояля, который у нее был, — петь два-три романса. В ответ на это господин Бовари, несколько не увлекавшийся словесностью, говорил, что все это «потерянный труд». Разве у них когда-нибудь хватит средств воспитать сына в казенном учебном заведении и купить ему должность или торговое дело? К тому же «бойкий человек всегда пробьется в жизни». Госпожа Бовари кусала губы, а ребенок бродяжничал по деревне.

Он ходил за землепашцами и комьями земли гонял ворон, собирал по канавам ежевику, стерег с хворостиной в руке индюшек, ворошил на лугу сено, бегал по лесу, прыгал на одной ноге с товарищами по плитам церковной паперти в дождливые дни, в праздники умолял пономаря о разрешении ударить в колокол, чтобы всем телом повиснуть на толстой веревке и «ощутить», как она уносит тебя в пространство.

Зато он и вырос, как молодой дубок. У него были крепкие руки и здоровый румянец.

Когда ему минуло двенадцать лет, мать настояла на том, чтобы его отдали в учение. Образование его было поручено местному священнику. Но уроки были так мимолетны и случайны, что не могли принести большой пользы. Они давались урывками, в ризнице, на ходу, второпях между крестинами и похоронами; или же священник

посылал за своим учеником, когда уже отзвонили «Angelus» и ему никуда не предстояло идти. Оба поднимались наверх, в комнату юре, и усаживались. Мошки и ночные бабочки кружились вокруг свечи. Было жарко, ученик засыпал; да и сам наставник, сложив на животе руки, вскоре уже храпел с раскрытым ртом. Иной раз священник, возвращаясь из деревни, от больного при смерти, которого только что напутствовал, встречал Шарля, занятого какими-нибудь шалостями в поле, подзывал его к себе, отчитывал с четверть часа и пользовался случаем, чтобы заставить его тут же, под деревом, проспргать глагол. Их прерывал дождь или проходящий мимо знакомец. Впрочем, учитель был доволен учеником и говорил даже, что у «молодого человека» хорошая память.

Воспитание Шарля не могло остановиться на этом. Госпожа Бовари оказалась настойчивой. Пристыженный или, скорее, утомленный ею, господин Бовари уступил без сопротивления; но было решено пропустить этот год, потому как мальчик готовился к первой исповеди.

Прошло еще шесть месяцев; и год спустя Шарль окончательно был отдан в Руанскую гимназию, куда отец повез его сам в конце октября, в пору Сен-Роменской ярмарки.

Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик он был смирный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в дортуаре и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый — оптовый торговец железом на улице Гантри, который брал его в отпуск раз в месяц по воскресеньям; когда лавка запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в семь часов, к ужину, приводил обратно в гимназию. Каждый четверг, вечером, Шарль